



О. Бердяева

Перевернутая иерархия:
к проблематике повести М. Бул-
гакова
«Собачье сердце»

Проза М.А. Булгакова 20-х годов представлена, главным образом, романом «Белая гвардия» и тремя повестями – «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце».

Роман Булгакова «Белая гвардия» посвящен поколению, для которого «внезапно наступила история». Биографии героев сломаны мощной логикой исторических событий, и все внимание в романе сосредоточено на этих сломах. Турбины и их друзья, будучи выведенными из счастливого, «легендарного» прошлого, сталкиваются лицом к лицу с жестокой иррациональной историей. Вполне можно сказать в связи с этим, что они вышли из мира толстовского «Детства» и вступили в действительность, которая не имеет ничего общего с «Войной и миром». Здесь скорее напрашивается аналогия с «Капитанской дочкой» Пушкина, эпиграф из которой, как не раз отмечалось в булгаковедении, служит одним из ключей к роману.

Герои «Белой гвардии» были оставлены автором на пороге жизни, из которой безвозвратно уходили люди типа Най-Турса и Малышева, на них лежал отблеск русской военной славы и безупречного рыцарства. Позже их судьбу Булгаков попытается проследить в «Беге», но в прозе он более к ним не вернется.

«Большое повествовательное дыхание» в «Белой гвардии» было сбито, и Булгаков больше не пытался его обрести. Если в советской прозе 20-х годов окончательно возобладает тенденция эпико-героического изображения гражданской войны (от «Падения Даира» Малышкина до «Разгрома» Фадеева), то в булгаковских повестях был налицо уход от принципов традиционного эпического повествования.

Современная Булгакову действительность рождала характеры и коллизии, которые писатель будет осмысливать по преимуществу сатириче-

ски. Летописный склад повествования, которым начиналась «Белая гвардия», сменялся иным, соответствующим сатирическому жанру и сатирической фабуле. Если в романе существовал сложный контрапункт «толстовского» и «гоголевского» начал и анекдот существовал внутри эпоса, то теперь толстовское начало уходило из булгаковской прозы, окончательно вытесняясь гоголевским. Эпос вытеснялся сатирой, летопись – анекдотом.

В начале 20-х годов в статье «Новая русская проза» Евгений Замятин писал о том, что со старым типом прозы, который напоминает о «настоящем Толстом – Льве», литературе придется распрощаться, поскольку в нынешней действительности «у реализма нет корней»: «Сама жизнь – сегодня перестала быть плоско-реальной: она проецируется не на прежние неподвижные, но на динамические координаты Эйнштейна, революции. В этой новой проекции – сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда – так логична в сегодняшней литературе тяга именно к фантастическому сюжету или сплаву реальности и фантастики»¹.

Еще в «Белой гвардии», в частности, в образе Шполянского, обозначится мотив антихриста и дьявольской насмешки над человеческой историей. Мотив этот будет продолжен в повести «Дьяволиада» и станет сквозным в творчестве Булгакова.

Герой типа Короткова, или, по выражению И. Нусинова, «мелкий чиновник, который затерялся в советской государственной машине»² и отчаянно борется за свое существование, оказался для Булгакова эпизодическим. Он не был и не мог стать его героем. В «адовой пасти» люди этого склада могли быть только жертвами. Поэтому не удивительно, что Варфоломей Коротков, как будто сошедший со страниц прозы Гоголя и Достоевского, мелкий служащий, разночинец, оказался для него своеобразной пробой пера.

Булгакова влекли иные персонажи, типология которых была намечена им в «Белой гвардии»: он продолжал искать своих героев в среде русской интеллигенции, которая была, по его представлениям, носителем духа, долга и чести. При этом он хорошо понимал, насколько драматически и причудливо складывались их судьбы в новой исторической действительности.

Повесть «Роковые яйца» продолжила линию сближения фантастики и быта, имевшую место в «Дьяволиаде». Но теперь фантастика не имела мистического характера, не случайно в «Роковых яйцах» прозвучало имя Герберта Уэллса. «Гоголевский» анекдот сменялся научно-фантастической фабулой, и Булгаков не скрывал, что заимствовал фабулу у английского писателя, воспринявшего революцию в России как социальную катастрофу.

Острое чувство катастрофизма владело Булгаковым в послереволюционное время. «Катастрофа» и «разруха» – два слова, которые при характеристике России постоянно повторяются в книге Г. Уэллса «Россия во мгле». Эти понятия важны и для Булгакова, совпадение вряд ли оказывается случайным. «Катастрофа» – слово-лейтмотив повести «Роковые яйца», а «разруха» – главная тема монологов профессора Преображенского в повести «Собачье сердце».

Автор «России во мгле» с изумлением констатировал очевидную волю к будущему, которая существовала в стране, несмотря на разруху. Уэллс увидел, что русская наука сохранила свой творческий потенциал вопреки ужасающим условиям ее существования. «Дух науки – поистине изумительный дух», – писал Уэллс. И подчеркивал: «В Доме литературы и искусств мы слышали кое-какие жалобы на нужду и лишения, но ученые молчали об этом. Все они страстно желают получить научную литературу; знания дороже им хлеба»³.

К людям науки Булгаков имел возможность присмотреться в Москве. М.О. Чудакова справедливо отметила роль, которую в жизни писателя сыграло знакомство с «обитателями Пречистенки и Остоженки» – представителями интеллектуальной московской элиты⁴. Для него как для писателя это был не только колоритный материал, но и возможность почувствовать, как складываются взаимоотношения «старорежимной» русской интеллигенции с новой властью и новой жизнью и то, какую роль отвела этой интеллигенции история начала XX столетия.

Если Булгаков и не был знаком с «Россией во мгле» – объективно он задумывался над ситуацией, имеющей «уэллсовский» подтекст, – противоречие между утопическими намерениями новой власти, проектирующей будущее страны, и возможностями, которые может предоставить в ее распоряжение наука. Дух независимости, творчества, аристократически-горделивого сознания важности своего дела – все это привлекало Булгакова в фигуре русского ученого. Но в послереволюционной России торжество политической утопии парадоксально совпадало с необычайно интенсивным развитием научной мысли, и в этом Булгаков провидел опасность катастрофы. Более того, здесь писатель зорко усмотрел слабые, чрезвычайно уязвимые стороны людей этого типа.

Соединение научно-фантастического с темой злободневно-политического характера было не случайно и в силу того, что сама коммунистическая утопия, навязанная России, тоже являлась «чисто теоретическим» результатом кабинетной мысли, который вызывал к жизни «новые силы». Уэллсовский сюжет был насыщен в повести Булгакова мотивами, которые не только перестраивали его изнутри, но и сообщали ему художественную новизну.

Проза Булгакова развивалась в духе требований, предъявленных Евгением Замяτιным, но автор «Дьяволиады» был резко отрицательно на-

строен к замятинской идее о том, что революция присутствует «всюду, во всем», ибо законы ее носят «космический», «универсальный» характер⁵. Отношение к революции как катастрофе заявляло о себе на страницах повести «Роковые яйца», где слово «катастрофа» в одном предложении повторяется два раза подряд: «Начало ужасающей катастрофы [...] равно как и первопричиной этой катастрофы [...]» (2, 45)⁶. И хотя по сюжету речь шла о катастрофе, вызванной открытием профессора Персикова, это дела не меняло. Повесть начиналась с описания катастрофической эпохи 1919 – 1920 годов, в которой стали вымирать тараканы, демонстрирующие «свое злостное отношение к военному коммунизму» (2, 47).

Логика зла в повести такова, что ее невозможно пресечь ни силой, ни молитвой. Это логика перевернутого порядка вещей, поменявшихся местами «верха» и «низа». Все возвращается на место в финале старым приемом *deus ex machina*, который у Булгакова иронически переформулирован как «морозный бог из машины». Гады гибнут в ночь с 19 на 20 августа, то есть после праздника Преображения Господня, в результате сильных морозов. И в этой чудесной случайности прочитывается надежда автора на защиту свыше от ужасной катастрофы.

Повесть «Собачье сердце» имеет подзаголовок «Чудовищная история». Здесь Булгаков углубил и заострил коллизию «Роковых яиц», связанную с безответственным экспериментом на живой природе. Коллизия «Собачьего сердца» откровенно пародировала центральную идею 20-х годов – идею рождения «нового человека», адресованную советской литературе в качестве «социального заказа». Не удивительно, что Булгаков усилил философский подтекст «чудовищной истории», введя в нее перекличку не только с фантастической прозой Г. Уэллса, но и с «Фаустом» Гете.

Об этом свидетельствовала, например, запись в дневнике доктора Борменталья: «Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул! Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу! Профессор Преображенский, вы – творец!!» (2, 164). В «Роковых яйцах» писатель показывает, как идея, вышедшая на улицу, оборачивается вместо благодеяния катастрофой. Речь идет о стремлении человека подчинить природу и историю и стать, говоря словами Достоевского, человекобогом.

Булгаков, как сын профессора духовной академии, не мог не чувствовать религиозной подоплеку популярного афоризма: «Кто был ничем, тот станет всем». Стать всем – и означало поставить человека на место Бога. Эту метаморфозу, при которой ничто становится всем, пародировал писатель в сюжете превращения собаки Шарика в человека Полиграфа Шарикова. В итоге получалось, однако, не все, а нечто. В гетевском «Фаусте» к созданию этого нечто, то есть гомункула в реторте, был причастен не только ученик Фауста Вагнер, но и Мефистофель.

Пафос Вагнера заключался в том, что человек способен победить природу и сравняться с ней в творческой силе. Вагнеровский Гомункул при своем появлении на свет обращается к Вагнеру: «А, папенька!» Вспомним, что и Шариков называет Преображенского «папашей». Гомункул становится слугой Мефистофеля, а все его дальнейшие действия оказываются полностью независимыми от Вагнера. Шариков сразу становится подручным Швондера и не собирается подчиняться своему «папаше». Вагнер не в состоянии представить последствия появления Гомункула на свет, о чем недвусмысленно предупреждает Мефистофель, говоря, что «приходится считаться с последствиями собственных затей»⁷. С этими последствиями уже столкнулся профессор Персиков. Сюжет «Собачьего сердца» продолжал развивать тему «последствий» в гетевско-уэллсовском контексте. «Бес» толкал под руку творцов новых технологий, и Булгаков пытался предупредить о последствиях этих затей.

Зазвучавшая в «Роковых яйцах» тема перевернутой иерархии, где высшее и низшее меняются местами, на страницах «Собачьего сердца» предстает в оппозиции бездомной дворняги Шарика и обладателя роскошной квартиры профессора Преображенского и повторяется в противостоянии Швондера и Шарикова – Преображенскому и Борменталю. Причем если иерархическое соотношение верха и низа в «Роковых яйцах» нарушено случайно, то в «Собачьем сердце» – это результат благих намерений. «Я заботился [...] об евгенике, об улучшении человеческой породы», – говорит Преображенский (2, 194). Ему удастся поднять низшее существо на более высокую ступень эволюции, причем, как он сам признается, «теоретически это интересно...» (2, 194).

Здесь угадывается и неприятие утопических моделей будущего, построенных на идее равенства людей и животных – вспомним хотя бы поэтическую утопию Хлебникова или живописную – Филонова. В развенчании утопизма Булгаков совпадал с Замятиным. Но если в романе «Мы» Замятина тревожила тенденция, ведущая к тому, чтобы замкнуть революцию духа в клетку государственной регламентации, то в «Собачьем сердце» все обстояло наоборот: идея иерархически организованного бытия противопоставлялась революции как разгулу «низшего» в человеке.

Симпатичный дворовый пес смотрит на людей как на существа высшего типа, давая им, впрочем, свою оценку. К Преображенскому Шарик мысленно обращается сначала как к гражданину, а потом – как к господину: «Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего – господин» (2, 122).

Такое представление Шарика о человеке зиждется на собачьем нюхе: «Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!» (2, 123). Здесь налицо «собачий» здравый смысл. Развитие сюжета заключается в пренебрежении этим «здравым» смыслом со стороны господина, ибо эксперимент Преображенского совершается вопреки не толь-

ко естественным представлениям Шарика, но главное – вопреки законам природы. Этот здравый смысл отчасти сохраняется в Шарикове, говорящем в ответ на претензии к нему «папаши»: «Разве я просил вас мне операцию делать...» (2, 169). Намерениям профессора, как и его опытам по омоложению людей, недаром сопутствует inferнальный и данный с отрицательным знаком мотив вьюги-«ведьмы», берущий свое начало еще в «Белой гвардии», говорящий о вмешательстве «бесовских» сил в человеческие дела.

Субъектом революционной эпохи выступает не народ, одержимый порывом в «новый мир», а человек, для которого новая жизнь неразрывно связана с инстинктом удовольствия. И хотя Булгаков приветствовал нэп, видя в нем проявление желанной ему эволюции, он замечал и то, что одновременно шло измельчание человеческой породы и складывался тип человека, цепкого, жадного до жизненных благ. В сравнении с ним Швондер и его подручные были так же архаичны, как Рокк в 1928 году, словно явившийся из 1918.

Опыты Преображенского по омоложению так же имеют «фаустианский» подтекст, ведь заветным желанием Фауста в первой части гетевской «трагедии» была вечная молодость и вечное обладание женщиной. Человек эпохи нэпа у Булгакова – измельчавший Фауст, и пациенты Преображенского вызывают лишь брезгливую жалость и иронию. Зато наука в лице Преображенского выступает не только в роли Вагнера, но и в функции Мефистофеля, поскольку с ней связан соблазн полной власти. При этом человек науки «по-уэллсовски» гарантирует технологическое обеспечение этой власти.

На этом фоне пес Шарик выступает не только как нормально мыслящее, но и как религиозно чувствующее существо. В трудную для себя минуту он думает: «Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние и подлинно грех» (2, 123). И как у верующего человека отчаяние преодолевается верой, пес полностью доверяется своему хозяину и Богу, этому «чудесному видению в шубе» (2, 123).

Однако Преображенский так же предает его, как предает Персиков своих лягушек. Религиозный аспект этой коллизии заключается в том, что природа, отданная человеку в обладание, насилуется им ради корыстных человеческих целей, как бы ни говорила наука о своем бескорыстии. Возникает опасная близость научного мышления и мышления революционного. Оба они пренебрегают здравым смыслом и моралью, оба решительно вмешиваются в эволюционный, «божий» порядок вещей. Отсюда и странная, на первый взгляд, глубоко парадоксальная близость Персикова и Рокка, Преображенского и таинственного Виталия Александровича. Наука оказывается онтологически не укорененной в бытии, как и революционная деятельность. Обе покушаются на то, чтобы изменить бытие коренным образом. И появление Шарикова, угрожающего своему «па-

паше», – такая же месть природы, как огромная анаконда, склонившаяся над Рокком, или разъяренная толпа, громящая лабораторию Персикова.

Но ошибочно трактовать профессора Преображенского как отрицательный персонаж, как это сделал в книге о Булгакове Вс. Сахаров⁸. Тип ученого в булгаковских повестях далеко не так прямолинеен, как это кажется исследователю. Персиков изображен Булгаковым как чудовищно односторонний человек, оказавшийся в вопросах социального порядка совершенным младенцем. Права М.О. Чудакова, заметившая зависимость образа Персикова от персонажа романа Андрея Белого «Москва» профессора Коробкина⁹. Персиков – тип «чудака», введенный в русскую прозу Белым, и в структуре булгаковской повести он смотрится почти цитатой из Белого.

Но в образе Преображенского Булгаков сознательно и последовательно развил черты, которые были ему дороги – скептицизм по отношению к революции, социальную ответственность и здравый смысл, человеческую порядочность, способную в критических ситуациях возвыситься до героизма. Он решительно заявляет Борменталю: «А бросить коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите. Я – московский студент, а не Шариков!» (2, 192). Заметна связь образа Преображенского с персонажами «Белой гвардии». Профессор потому не любит новую власть, что она внесла хаос в хорошо налаженный быт дома, в котором он живет.

Мотив гибели дома звучит в повести столь же апокалипсически, как и в рассказе «№13. – Дом Эльпит-Рабкоммуна». Мотив выюги, в которой холодно бездомному псу и барышне-секретарше, продолжен мотивом разрухи, которая «сидит не в клозетах, а в головах» (2, 145). Социальный пафос защиты своего дома – одобрительно оценен здравомыслящим псом: «Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать...» (2, 145). Парадокс в том, что, вызвав к жизни Шарикова, Преображенский поставил дом под еще большую угрозу и дал козырь в руки разрушителя и уравнил Швондера.

Наука для интеллигента Преображенского – та социальная ниша, в которой ощутимо не только его духовное величие, но и реализована его независимость. В восприятии Шарика профессор предстает сакральным существом и даже «божеством». Преображенский показан как служитель некоей неведомой и страшной религии, в его облике проступают черты то православного священника, то египетского жреца: «в белом сиянии стоял жрец», «его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку» (2, 153). Ритуал этой новой религии ужасен и кровав, что подчеркивается сравнением Преображенского с «сытым вампиром» и его «меловыми руками», которыми он снимает «окровавленный клубок» (2, 158).

Но Булгаков отдает Преображенскому и бескомпромиссную критику революционного насилия: «Террором ничего поделывать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. [...] Они напрасно думают, что террор им поможет» (2, 129). Парадокс в том, что эксперимент – террор относительно Шарика. Преображенский не сознает этого, полагая, что наука дает ему право на насилие. Во многом сюжет повести строится на прозрении Преображенского, признающего как степень своей вины, так и степень своего заблуждения.

Булгакову важно сформулировать мысль об опасной близости научного и революционного экспериментов, в основе которых лежит «террор», но не менее важным было утверждение науки как одной из важнейших составляющих эволюционного развития общества. Он подчеркивает, что само существование науки возможно только тогда, когда будет ликвидирован социальный хаос, создающий угрозу «калабуховскому дому», и – что еще важнее – когда восстановится нарушенная иерархия вещей. Нарушение этой иерархии демонстрируется приходом в квартиру Преображенского неуча и невежи Швондера с подручными. Идея Швондера, внешне представляющая как установление всеобщего равенства, скрывает его стремление получить право распоряжаться людьми высшего духовного уровня.

Преображенский получает возможность работать в семикомнатной квартире не потому, что его защищает революция. Революция представлена «дураком» Швондером. Профессору покровительствует власть, то есть иерархия, и ему все равно, в какой цвет эта власть выкрашена. В конце повести появляется таинственный покровитель Преображенского – «толстый и рослый человек в военной форме» (2, 202), который многозначительно говорит по поводу поступившего на профессора доноса: «Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович!» (2, 203). В «Собачем сердце» Булгакова волновала не столько угроза всесильной власти, сколько беспредел маленьких и неумных людей, получивших от революции огромные полномочия, то есть «перевернутая» иерархия, где «низшее» занимает место «высшего» и присваивает себе его права.

Профессор осознает свою ошибку, поняв раньше всех, что вмешался в природу, эту огромную и сложную лабораторию, деятельность которой имеет свою задачу, которая не может быть материалом для опытов. Наука, не вмешиваясь в эту деятельность, должна вести свою работу параллельно природе, видя в ней своего рода образец. Преображенский скажет об этом Борменталю: «Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу! На, получай Шарикова и ешь его с кашей! [...] Доктор, человечество само заботится об этом и, в эволюционном порядке каждый год упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар» (2, 193 – 194).

Неуважение к жизни приводит к непониманию того, что существующий в ней иерархический порядок есть результат длительного эволюционного творчества, в процессе которого каждому явлению отведено соответствующее место. Ошибка Преображенского заключается, однако, не только в том, что он пытается изменить этот порядок, но и в том, что его установка на гуманность оказывается ложной. Она логически приводит к террору над живою жизнью, хотя теоретически Преображенский террор отрицает.

Булгаков не мог не знать, что в основу Великой французской революции были положены гуманные идеи энциклопедистов, а беспощадный революционер Робеспьер был искренним поклонником человеколюбца Руссо. Дать собаке Шарику шанс сделаться человеком – в принципе идея гуманная, но осуществляется она путем насилия над собакой. В итоге рождается существо, по отношению к которому гуманизм неприменим вовсе.

Беда Филиппа Филипповича в его непоследовательности, вытекающей из его глубокой раздвоенности. В области науки – он революционер-экспериментатор, который сродни Швондеру, проводящему в жизнь социальный эксперимент. И Швондер, и Шариков с радостью напоминают Преображенскому о том, что он несет ответственность за проведенный эксперимент. «...Ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова!» – говорит Швондер (2, 173).

Но в сфере социальной жизни он по-интеллигентски беспомощен перед порожденным им асоциальным типом. Несообразность и нелепость ситуации в том, что сложнейшая операция, сделанная хирургом, «не имеющим равных в Европе» (2, 157), всего лишь демонстрирует, как сильно может деградировать человеческая порода. Революция, которую Преображенский отвергает, в лице Швондера с радостью готова использовать печальные плоды уникального эксперимента. Для того чтобы Швондер мог полностью распоряжаться жизнью, ему необходимы подобные Шарикову примитивные существа, лишенные какой-либо культурной сложности. В этом, по мысли Булгакова, не только личная ошибка Преображенского, но и «грех» самой европейской революционной инициативы, подхваченной и осуществленной в России.

Швондер – уравниватель, требующий отнять, чтобы поделить. Шариков – иное, новое, небывалое существо, усваивающее философию Швондера, ибо у него нет «ничего», а у его «папаши» есть «все». Но Швондер – существо «идейное», тогда как Шариков любых «идей» начисто лишен. Когда Швондер заводит речь о постановке на военный учет в случае «войны с империалистическими хищниками», он слышит в ответ: «На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом. [...] Мне белый билет полагается» (2, 171).

Шариков – «новый человек», новизна которого в том, что он руководствуется инстинктом и вовсе лишен каких-либо идей. В нем нашла свое

воплощение материя антиистории, которую Булгаков провидчески различил в русской революции. Более того, в силу своего «антиисторизма» Шариков может оказаться чрезвычайно удобным орудием для дальнейшего разрушения, или «разрухи». Но при этом первыми жертвами этого разрушения станут сами носители революционных идей.

Первым это осознает Преображенский, говоря о том, что Швондер «не понимает, что Шариков для него сейчас еще более грозная опасность», так как если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!» (2, 195). Революция, начинаясь «идейно», приводит, в конечном счете, к девальвации и ликвидации всяких идей вообще и замене их простейшими инстинктами. Она сворачивает культурную сложность человека, оказываясь тем самым экспериментом по уничтожению культуры как таковой. Вот почему Преображенский решается на то, чтобы силой вернуть Шарикова в изначальное состояние.

За этим вставала все та же мысль Булгакова о необходимости восстановления иерархического порядка вещей, «перевернутого» революцией и ведущего к «разрухе». Противоестественность этой новой шкалы ценностей заключается в том, что наследственность хулигана и алкоголика Клима Чугункина дает Полиграфу Полиграфовичу Шарикову целый ряд преимуществ в новой социальной действительности, строящейся по принципу замены «всего» – «ничем», тогда как порода Преображенского и Борменталья превращает их в маргиналов. «Дурная наследственность» профессора и его ученика – следствие перевернутого порядка вещей, который всегда выступает признаком дьявольской игры.

В финале повести перевернутая иерархия занимала нормальное, исходное положение. Пес оказывался на своем месте и снизу вверх наблюдал «страшные дела»: «Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво все чего-то добивался в них, резал, рассматривал, шурился и пел:

– К берегам священным Нила...» (2, 208).

Концовка повести выражала надежду Булгакова на эволюционное развитие жизни.

В. Гудкова справедливо обратила внимание на то, что сюжет повести вписан в христианский календарь: «[...] Шарик увидел профессора 16 декабря, прожил у него в доме неделю, во второй половине дня 23-го декабря состоялась операция, в результате которой у существа «отваливается хвост», последнее напоминание о собачьем облике – 6 января. То есть этапы «псевдоочеловечивания» Шарика вписаны в промежуток от Сочельника до Рождества, с 24 декабря по 6 января. Профессор Преображенский «преображает» собаку в значимые для христианского календаря дни [...]» (2, 692).

«Хвостатое» происхождение Клима Чугункина, превращающегося в человека, выдает его «бесовскую» породу, закодированную пушкинскими

«Бесами», гоголевской «Ночью перед Рождеством» и «Фаустом» Гете. В этом контексте неудавшееся рождение Шарикова оказывается неудачной попыткой бесовоплощения, то есть булгаковским мотивом Антихриста, который стоит на пороге своего появления в истории, пока угадываясь в его многочисленных «предтечах».

Что касается символики фамилии *Преображенский*, то дело не в том, что он «преображает» Шарикова. Преображенский, с одной стороны, предупреждение о том, что всякая попытка самонадеянно утвердиться на более высокой ступени бытия есть бесовский соблазн. С другой стороны, он спасает окружающих людей и самого себя от гомункулуса-Шарикова, возвращая нас к концовке «Роковых яиц», где гады гибнут 19 августа в праздник Преображения Господня.

Повесть Булгакова «Собачье сердце», равно как и его первый роман и другие повести, была написана религиозно мыслящим писателем, стремившимся увидеть в современных ему событиях контуры драмы человечества, сбившегося с пути.

¹ *Замятин Е.* Я боюсь: Литературная критика. Публицистика: Воспоминания / Сост. и комм. А.Ю. Галушкина. Подг. текста А.Ю. Галушкина, М.Ю. Любимовой. М., 1999. С. 93 – 94.

² *Нусинов И.М.* Путь М. Булгакова // Печать и революция. 1929. №4. С. 45.

³ *Уэллс Г.* Россия во мгле // Герберт Уэллс. Собр. соч.: В 15 т. / Под общей ред. Ю. Кагарлицкого. М., 1964. Т. 15. С. 316.

⁴ *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 308 – 316.

⁵ См.: *Замятин Е.* Я боюсь. С. 95.

⁶ *Булгаков М.А.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1989 – 1990. Т. 1 – 5. Все цитаты из произведений М.А. Булгакова даются по названному изданию с указанием в скобках тома и страницы.

⁷ *Гете И.В.* Фауст: Трагедия / Пер. Б. Пастернака. М., 1998. С. 374.

⁸ *Сахаров В.* Михаил Булгаков: писатель и власть: По секретным архивам ЦК КПСС и КГБ. М., 2000. С. 79 – 80.

⁹ *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 295.

